

Маленькая Рок -2/ новелла

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Маленькая Рок -2/ новелла II.

Следствие продолжалось все лето, но преступника так и не нашли. Все заподозренные и арестованные без труда доказывали свою невиновность и, судебным властям пришлось прекратить дело.

Но убийство сильнее всего взбудоражило всю округу. В душах жителей осталась какая-то тревога, смутный страх, чувство таинственного ужаса, вызванное не только невозможностью обнаружить какие бы то ни было следы, но также, – и даже, пожалуй, в особенности, – странным появлением сабо перед дверью тетушки Рок на другой день после преступления! Уверенность в том, что убийца присутствовал при осмотре трупа, что он, очевидно, продолжал жить в деревне, тревожила умы, преследовала неотступно и нависла над селом как постоянная угроза.

Да и сама роца прекратилась в страшное место, которое все избегали: говорили, что в ней нечисто. Прежде крестьяне приходили туда гулять по воскресеньям, после обеда. Они усаживались на мху у подножия огромных деревьев или же бродили по берегу, высматривая форель, мелькавшую между водорослями. Парни играли в шары, в кегли, в пробку, в мяч на расчищенных и утрамбованных ими площадках, а девушки гуляли по четверо, по пятеро в ряд, взявшись за руки и распевая крикливыми голосами романсы, терзавшие слух; фальшивые ноты сотрясали тихий воздух и вызвали ощущение оскотины, как от уксуса. Но теперь уже никто не приходил под эту густую сень, словно люди боялись опять увидеть труп.

Настала осень, начался листопад. Легкие, круглые листья падали день и ночь и, кружась, спускались вдоль стволов высоких деревьев; небо уже начинало проглядывать сквозь ветви. Порой, когда по верхушкам деревьев проносился порыв ветра, этот медленный, непрерывный дождь внезапно усиливался, и шумный

ливень устилал мох толстым желтым ковром, похрустывающим под ногами. Почти неуловимый шелест, реющий, беспрестанный, нежный шелест опадания, звучал, как жалоба, и эти беспрерывно падающие листья казались слезами, крупными слезами, которые проливали печальные большие деревья, день и ночь оплакивая конец года, конец прохладных зорь и тихих вечеров, конец теплого ветра и ясного солнца, а может быть, и преступление, совершенное здесь, под их сенью, девочку, изнасилованную и убитую у их подножия. Они плакали среди молчания покинутого пустого леса, заброшенного, страшного леса, где блуждала в одиночестве маленькая душа маленькой покойницы.

Брендиль, вздувшаяся от дождей, желтая, гневная, бежала быстрее между опустелыми берегами, между двумя рядами тощих и обнаженных ив.

И вдруг Ренарде снова начал гулять в роще. Каждый день, под вечер, он выходил из дому, медленно спускался с крыльца и шел под деревья с задумчивым видом, засунув руки в карманы. Он долго бродил по мокрому и рыхлому мху, а в небе, подобно траурному вуалю, развеиваемому по ветру, кружило с отчаянным и зловещим криком целое полчище ворон, слетавшихся сюда со всех окрестностей ночевать на верхушках деревьев.

Иногда они спускались, усеивая черными пятнами сучья, торчащие в багровом небе, в кровавом небе осенних сумерек, но вдруг с ужасным карканьем снимались с места и разворачивали над лесом длинную черную ленту своего полета.

В конце концов садились на вершины самых высоких деревьев, постепенно прекращали свой гомон, и в темнеющей ночи их темное оперение сливалось с окружающей мглой.

А Ренарде все еще медленно бродил под деревьями; когда же сумрак сгущался настолько, что ходить становилось невозможно, он возвращался домой, падал в кресло перед ярким пламенем камина и протягивал к очагу мокрые ноги, долго дымившиеся перед огнем.

Но вот однажды утром всю округу облетела большая новость: мэр велел снести рощу.

Двадцать дровосеков уже приступили к работе. Они начали с участка, ближнего к дому, и быстро продвигались вперед под

наблюдением самого хозяина.

Прежде всего на деревья взбирались те, которые обрубали сучья. Привязав себя к стволу веревочной петлей, дровосеки сначала обхватывают его руками, потом, подняв ногу, сильно ударяют по нему стальным шипом, прикрепленным к подошве башмака. Острие, вонзаясь в дерево, застревает в нем, и рабочий поднимается, как по ступеньке, всаживает в ствол шип, прикрепленный к другой ноге, поднимается с его помощью и опять всаживает первый шип.

С каждым шагом он все выше подтягивает веревочную петлю, привязывающую его к дереву; у бедра его висит и сверкает стальной топорик. Человек ползет медленно, как паразитическое животное по телу великана, тяжело взбирается по огромной колонне, обнимает ее и вонзает в нее шпоры, чтобы затем снести ей голову.

Добравшись до первых сучьев, дровосек останавливается, отвязывает острый топорик, висящий у него на боку, и наносит первый удар. Он ударяет медленно, методично, подрубая сук как можно ближе к стволу; вдруг ветвь трещит, поддается и повисает, обламывается и падает, задевая на лету соседние деревья. Она обрушивается на землю с громким треском раскалывающегося дерева, и все ее мелкие ветви еще долго трепещут.

Земля покрывалась сучьями, и другие рабочие обрубали их, связывали в охапки, складывали в кучи, а не тронутые еще стволы деревьев стояли вокруг, словно огромные столбы, гигантские колья, подвергнутые ампутации и выбритые острой сталью топора.

Закончив обрубку, рабочий оставлял на прямой и тонкой верхушке дерева подтянутую им за собой веревочную петлю и, снова вонзая шпоры, спускался по обнаженному стволу, за который тогда принимались дровосеки, подрубая его у самого корня сильными ударами, гулко разносящимися по роще.

Когда рана, нанесенная подножию дерева, становилась достаточно глубокой, несколько человек, издавая мерные крики, начинали тянуть веревку, привязанную к вершине, и огромная мачта, вдруг затрещав, обрушивалась на землю с глухим гулом, сотрясая

воздух подобно отдаленному пушечному выстрелу.

Лес убывал с каждым днем, теряя срубленные деревья, как армия теряет солдат.

Ренарде уже не уходил отсюда; он оставался здесь с утра до вечера и, заложив руки за спину, неподвижно созерцал медленное уничтожение своей рощи. Когда дерево падало, он наступал на него ногой, как на труп. Потом переводил глаза на следующее со скрытым и спокойным нетерпением, как будто чего-то ожидал или надеялся на что-то к концу этой бойни.

Между тем уже приближались к тому месту, где была найдена маленькая Рок. Добрались до него однажды под вечер, когда начинало смеркаться.

Так как темнело и небо было обложено тучами, дровосеки решили прекратить работу, оставив рубку огромного бука до следующего дня; но мэр воспротивился этому и потребовал, чтобы они немедленно обкорнали и свалили великана, укрывшего своей сенью преступление.

Когда рабочий оголил дерево и закончил последний туалет этого осужденного и когда дровосеки подрубили его основание, пять человек начали тянуть веревку, привязанную к верхушке.

Дерево сопротивлялось; его могучий ствол, хотя и разрубленный до самой сердцевины, был тверд, как железо. Рабочие, все сразу, одновременно, равномерным рывком натягивали веревку, сгибаясь до земли, и выпускали единый сдавленный гортанный крик, который отмечал и соразмерял их усилия.

Два дровосека с топорами в руках стояли рядом с великаном, словно палачи, готовясь нанести новый удар, а неподвижный Ренарде, положив руку на ствол, ждал падения дерева с тревожным и нервным волнением.

Один из рабочих сказал ему:

– Вы очень близко стали, господин мэр. Как бы не зашибло вас.

Он ничего не ответил, не отступил ни на шаг; казалось, он, как борец, обхватит бук обеими руками и повалит его на землю.

Вдруг у основания высокой древесной колонны что-то треснуло, и по всему стволу, до самой вершины, казалось, пробежала болезненная судорога; колонна покосилась, готовая упасть, но все еще сопротивляясь. Возбужденные рабочие, напрягая мускулы,

сделали еще одно усилие, и в тот момент, когда сломанное дерево обрушивалось на землю, Ренарде вдруг шагнул вперед и остановился, подняв плечи, чтобы принять неотразимый удар, смертельный удар, который должен был раздавить его на месте. Но дерево немного отклонилось и лишь слегка задело Ренарде, отбросив его метров на пять в сторону, так что он упал ничком. Рабочие кинулись поднимать его но он уже сам приподнялся на колени, оглушенный, с блуждающими глазами, проводя рукой по лбу, как будто очнувшись от момента безумия.

Когда он встал на ноги, удивленные дровосеки, не понимая, что он сделал, принялись его расспрашивать. Он ответил, запинаясь, что на мгновение лишился рассудка, или, вернее, на секунду перенесся во времена своего детства, что ему представилось, будто он успеет пробежать под деревом, как мальчишки перебегают дорогу мчащемуся экипажу, что это была игра с опасностью, что за последнюю неделю в нем все усиливалось это желание, и каждый раз, когда раздавался треск падающего дерева, он думал о том, успеет ли пробежать под ним так, чтобы его не задело. Это, конечно, глупость, он согласен, но у каждого бывают такие минуты затмения и такого рода нелепые ребяческие соблазны.

Он говорил медленно, глухим голосом, подыскивая слова, потом ушел, сказав:

– До завтра, друзья мои, до завтра.

Вернувшись к себе в спальню, он сел за стол, ярко освещенный лампой с абажуром, и, обхватив голову руками, разрыдался.

Он плакал долго, потом вытер глаза, поднял голову и взглянул на часы. Шести еще не было. Он подумал: «До обеда еще есть время» – и пошел запереть дверь на ключ. Потом он снова сел за стол, отпер средний ящик, вынул оттуда револьвер и положил его поверх бумаг, на самое освещенное место. Сталь оружия лоснилась и отсвечивала огненными бликами.

Ренарде некоторое время глядел на револьвер мутным, как у пьяного, взглядом, потом встал и принялся ходить.

Он шагал по комнате из конца в конец и время от времени останавливался, но тотчас же начинал шагать снова. Внезапно он распахнул дверь в умывальную комнату, окунул полотенце в

кувшин с водой и смочил им лоб, как в день убийства. Потом снова зашагал по комнате. Каждый раз, как он проходил мимо стола, сверкающее оружие привлекало его взор, притягивало руку, но он следил за часами и думал: «Еще есть время».

Пробило половину шестого. Тогда он взял револьвер, с ужасной grimасой широко разинул рот и всунул туда дуло, словно собираясь проглотить его. Он простоял так несколько мгновений в неподвижности, держа палец на курке, но потом вдруг, содрогнувшись от ужаса, швырнул револьвер на ковер.

И, рыдая, бросился в кресло:

– Я не могу! Не смею! Господи! Господи! Как мне набраться духу, чтобы покончить с собой!

В дверь постучали; он испуганно вскочил. Слуга за дверью доложил:

– Кушать подано.

Ренарде ответил:

– Хорошо. Иду

Он поднял револьвер, снова запер его в ящик и взглянул на себя в зеркало, висевшее над камином, чтобы увидеть, не слишком ли искажено лицо. Оно было красное, как всегда, может быть, немного краснее. Только и всего. Он сошел вниз и сел за стол.

Он ел медленно, как бы желая продлить время обеда, как бы боясь опять остаться наедине с самим собой. Затем выкурил в зале несколько трубок, пока убирали со стола. Потом вернулся в свою комнату.

Едва он запер дверь, как тотчас же заглянул под кровать, раскрыл все шкафы, обшарил все углы, осмотрел мебель. Затем зажег свечи на камине и, несколько раз повернувшись кругом, обвел комнату взглядом, полным тоски и ужаса, которые искажали его лицо. Ведь он знал, что увидит ее, как видел каждую ночь, ее, маленькую Рок, маленькую девочку, которую он изнасиловал, а потом задушил.

Каждую ночь повторялось ужасное видение. Сперва в ушах начинался неясный гул, похожий на шум молотилки или далекого поезда на мосту. Он тяжело дышал, задыхался, ему приходилось расстегивать ворот рубашки и пояс. Он ходил по комнате, чтобы помочь кровообращению, пытался читать, петь, но все напрасно.

Мысль его против воли возвращалась ко дню убийства и заставляла снова переживать этот день во всех сокровеннейших подробностях, со всеми бурными волнениями, от первой и до последней минуты.

Поднявшись в то утро, в утро того ужасного дня, Ренарде почувствовал легкое головокружение и мигрень, которые приписал жаре, и потому решил остаться в спальне до завтрака. После завтрака он отдыхал, а к вечеру вышел подышать прохладным и тихим воздухом под деревьями своей рощи.

Но как только он вышел из дому, тяжелый и знойный воздух равнины подействовал на него еще более угнетающе. Солнце, еще высоко стоявшее в небе, обдавало опаленную передохшую, жаждущую землю потоками жгучего света. Ни единое дуновение ветра не колыхало листьев. Все животные, птицы, насекомые, даже кузнечики умолкли. Дойдя до деревьев, Ренарде пошел по мху, туда, где Брендиль, под необъятным сводом ветвей, давала немного прохлады. Он чувствовал себя плохо. Казалось, чья-то неведомая, невидимая рука сжимает ему горло, и он шел, ни о чем не думая, так как и вообще мало о чем размышлял. Одна лишь смутная мысль преследовала его вот уже три месяца – мысль о женитьбе. Он страдал от одиночества, страдал морально и физически. За десять лет он привык все время ощущать подле себя женщину, привык к ее постоянному присутствию, ежедневным объятиям к ее и испытывал потребность, смутную и настоятельную потребность к непрестанном соприкосновении с нею, в регулярных ласках. После смерти г-жи Ренарде он все время страдал, сам хорошенько не понимая отчего; страдал оттого, что ее юбки больше не задевают его ног в течение всего дня, и, главное, оттого, что он уже не может больше успокаиваться и затихать в ее объятиях. Он вдовел всего полгода, но уже присматривал в окрестностях девушку или вдову, чтобы жениться, как только кончится траур.

У него была целомудренная душа, но мощное тело Геркулеса, и плотские видения начинали тревожить его во сне и наяву. Он отгонял их, они возвращались, и порой он шептал, посмеиваясь сам над собой:

– Я прямо как святой Антоний.

В то утро у него было несколько таких навязчивых видений, и ему вдруг захотелось выкупаться в Брендили, чтобы освежиться и остудить жар в крови.

Он знал немного дальше по реке одно широкое и глубокое место, где окрестные жители купались иногда летом. Туда он и направился.

Густые ивы скрывали эту прозрачную заводь, где течение отдыхало и подремывало, прежде чем снова пуститься в путь. Приблизившись, Ренарде услышал тихий шорох, легкие всплески, но не те не походившие на плеск воды о берег. Он осторожно раздвинул ветки и посмотрел. Девочка, совсем голая, вся белая в призрачных волнах, шлепала по воде обеими руками, подпрыгивая и грациозно кружась. Уже не ребенок, но еще не женщина, полная, вполне сформировавшаяся, она казалась скороспелым подростком, быстро вытянувшимся и почти созревшим. Ренарде не шевелился, оцепенев от удивления и тревоги, прерывисто дыша в каком-то странном, щемящем волнении. Он стоял, и сердце его стучало, как будто сбылся один из его чувственных снов, как будто недобрая фея явила ему это волнующее, слишком юное создание, эту маленькую деревенскую Венеру, рожденную пеною ручейка, подобно той великой, родившейся из морских волн.

Вдруг девочка вышла из воды и, не замечая Ренарде, пошла прямо на него, чтобы взять платье и одеться. Она приближалась, ступая мелкими, неуверенными шажками, остерегаясь острых камешков, а он чувствовал, что его толкает к ней какая-то непреодолимая сила, какое-то животное вождение: оно воспламеняло всю его плоть, наполняло безумием душу, заставляло его дрожать с головы до ног.

Девочка задержалась на несколько мгновений за ивой, скрывавшей Ренарде. Тогда, теряя рассудок, он раздвинул ветви, ринулся на нее и обхватил ее обеими руками. Она упала, слишком ошеломленная, чтобы сопротивляться, слишком перепуганная, чтобы позвать на помощь, и он овладел ею, сам не сознавая, что делает.

Он очнулся от своего преступления, как от кошмара. Девочка заплакала.

Он сказал;

– Замолчи, замолчи. Я дам тебе денег.

Но она не слушала и плакала навзрыд.

Он повторял:

– Да замолчи же, замолчи. Замолчи!

Она начала отчаянно вопить, извиваясь, чтобы высвободиться.

Тут он понял, что погиб, и схватил ее за горло, чтобы остановить пронзительные, ужасные крики. Но она продолжала отбиваться с отчаянной силой существа, спасающего свою жизнь, и он сжал своими огромными руками ее маленькое горло, вздущееся от крика, сжал его так бешено, что мгновенно задушил цепочку, хотя вовсе не думал об убийстве, а просто хотел составить ее замолчать.

Потом он вскочил, обезумев от ужаса.

Она лежала перед ним, окровавленная, с почерневшим лицом. Он хотел бежать, но в его смятенной душе проснулся тот таинственный, смутный инстинкт, который руководит всеми живыми существами в минуту опасности.

Ренарде сперва решил бросить тело в воду, но какое-то другое побуждение толкнуло его к платью девочки. Он собрал вещи в небольшой узел, перевязал его веревкой, оказавшейся в кармане, и спрятал в глубокую яму в реке, под корягой, корни которой уходили в воду.

Потом он удалился крупными шагами, пошел по лугам, сделал большой обход, чтобы его видели крестьяне, живущие далеко, на другом конце округа, и, вернувшись в обычный час к обеду, рассказал слугам весь маршрут своей прогулки.

Как ни странно, в ту ночь он спал, спал тяжелым, животным сном, как, должно быть, спят иногда приговоренные к смерти. Проснулся он на рассвете, но не вставал, дожидаясь обычного часа, терзаемый страхом при мысли, что преступление будет обнаружено.

Затем ему пришлось присутствовать при следствии и осмотрах. Он участвовал во всем, как лунатик, как одержимый галлюцинацией, различая людей и предметы, точно сквозь сон, точно в пьяном тумане, с тем ощущением нереальности, которое смущает ум в часы великих катастроф.

Только раздирающий вопль матушки Рок схватил его за сердце. В этот миг он готов был броситься к ее ногам и крикнуть: «Это я». Но он сдержался. Все же ночью он выловил из воды сабо убитой и поставил у порога матери.

Пока длилось дознание, пока ему надо было направлять и сбивать со следа правосудие, он был полон спокойствия, самообладания, он был изворотлив, он улыбался. Он невозмутимо обсуждал с чиновниками все догадки, приходившие им на ум, опровергал их мнения, оспаривал их доводы. Он находил даже некоторое острое и мучительное наслаждение в том, чтобы мешать их розыскам, путать их предположения, оправдывать тех, кого они считали подозрительными.

Но с того дня, как прекратились поиски, он стал раздражителен, еще более вспыльчив, чем обычно, хотя и сдерживал вспышки гнева. При внезапном шуме он испуганно вскакивал; малейший пустяк заставлял его трепетать; если ему на лоб садилась муха, он содрогался с головы до ног.

Им овладела непреодолимая потребность движения, заставлявшая его совершать невероятные переходы, оставаться на ногах ночи напролет и все время шагать по комнате.

Не то, чтобы его терзали угрызения совести. Его грубая натура не поддавалась никаким оттенкам чувств или морального страха. Человек энергичный и даже буйный, рожденный для того, чтобы воевать, опустошать завоеванные страны, изничтожать побежденных, человек со свирепыми инстинктами охотника и вояки, он не дорожил человеческой жизнью. Хотя он и уважал церковь из политических соображений, но сам не верил ни в бога, ни в черта и, следовательно, не ожидал в будущей жизни ни кары, ни воздаяния за поступки, совершенные в жизни земной. Веру ему заменяла туманная философия, составленная из самых разнообразных идей энциклопедистов прошлого столетия; религию он расценивал как моральную санкцию закона, причем полагал, что и то и другое изобретено людьми для упорядочения социальных отношений.

Убить кого-нибудь на дуэли, или на войне, или в ссоре, или по нечаянности, или из мести, или даже из бахвальства он считал забавным, молодецким делом, и это оставило бы в его душе не

больше следа, чем выстрел по зайцу; но убийство девочки глубоко его потрясло. Он совершил его в припадке неудержимого безумия, в каком-то чувственном вихре, затмившем его рассудок. И он сохранил в своем сердце, сохранил в свое теле, сохранил на губах, сохранил даже в своих пальцах убийцы какую-то звериную, пронизанную беспредельным страхом любовь к этой девочке, захваченной им врасплох и столь подло умерщвленной. Его мысль постоянно возвращалась к ужасной сцене, и, сколько бы он ни пытался отогнать образ убитой, сколько бы ни отстранял его от себя с ужасом, с отвращением, он все же чувствовал, что этот образ не выходит у него из головы и беспрестанно вьется вокруг, выжидая возможности явиться ему. Он стал бояться вечеров, бояться падавших вокруг него теней. Он еще не знал, почему сумерки казались ему страшными, но инстинктивно опасался их; он чувствовал, что они населены ужасами. Ясность дня не располагает к страхам. Днем все предметы и живые существа видны, и потому встречаются только естественные предметы и существа, которым не страшно показаться на свету. Но глухая ночь, ночь плотная, как стена, пустая, бесконечная ночь, такая черная, такая огромная, где можно соприкоснуться с ужаснейшими вещами, ночь, где блуждает, где рыщет таинственный страх, таила, казалось ему, неведомую опасность, близкую и грозную. Какую же?

Скоро он это узнал.

Как-то поздно вечером, когда ему не спалось и он сидел в своем кресле, ему показалось, что штора на окне шевелится. Он замер от волнения, сердце у него забилося; штора больше не двигалась; но вот она колыхнулась снова, или ему почудилось, что она колыхнется. Он не смел встать, не смел перевести дух; а между тем он был не трус, ему часто приходилось драться, и он был бы не прочь повстречаться с ворами у себя в доме.

Но действительно ли штора шевелилась? Он задавал себе этот вопрос, боясь, не обманывает ли его зрение. Притом же это была такая малость – легкое колыхание ткани, чуть заметный трепет складок, еле уловимая рябь, как от дуновения метра. Ренарде ждал, не сводя глаз с окна, вытянув шею; но вдруг вскочил, стыдясь своего испуга, шагнул к окну, схватил занавески обеими

руками и широко раздвинул их. Сначала он не увидел ничего, кроме черных стекол, черных и блестящих, как чернила. Ночь, огромная, непроницаемая ночь, простиралась за ними до невидимого горизонта.

Он стоял лицом к лицу с этим беспредельным мраком и вдруг увидел где-то вдалеке свет, который двигался. Он прижался лицом к стеклу, думая, что это, верно, какой-нибудь браконьер ловит раков в Брендили, потому что было уже за полночь, а светилось в роще у самой воды. Ренарде все еще не мог как следует различить, что там такое, и щитком приставил руки к глазам, но вдруг свет превратился в сияние, и он увидел маленькую Рок, голую и окровавленную, на мху.

В ужасе он отшатнулся от окна, задел за кресло и упал на пол. Он пролежал так несколько минут, потрясенный до глубины души, потом сел и стал рассуждать. Это галлюцинация, вот и все, галлюцинация, вызванная тем, что какой-то ночной вор бродит по берегу с фонарем. Да и не удивительно, что воспоминание о преступлении порой вызывает перед ним образ убитой.

Он поднялся на ноги, выпил стакан воды и снова сел. Он думал: «Что делать, если это возобновится?» А он был убежден, он чувствовал, что это возобновится. Окно уже притягивало его взгляд, призывало, манило. Чтобы не видеть его, он переставил стул, взял книгу и попытался читать, но услышал, что позади него как будто что-то движется, и быстро повернулся вместе с креслом. Штора шевелилась; да, на этот раз она действительно шевелилась; тут уж не оставалось сомнений Он вскочил, дернул штору с такой силой, что сорвал ее вместе с карнизом, и жадно прильнул лицом к стеклу. Он не увидел ничего. За окном все было черно, и он с облегчением перевел дух, как человек, которого только что спасли от смерти.

Он вернулся, сел в кресло, но почти тотчас же его снова охватило желание посмотреть в окно. С той минуты, как штора упала, оно зияло, как темная дыра, угрожающая и зовущая в темноту полей. Чтобы не поддаваться опасному соблазну он разделся, потушил свет, лег и закрыл глаза.

Он ждал сна, лежа неподвижно на спине и чувствуя, что кожа у него стала влажной и горячей. Вдруг яркий свет проник через

его закрытые веки. Он открыл глаза, думая, что в доме пожар. Но все было темно, и он приподнялся на локте, стараясь разглядеть окно, которое по-прежнему непреодолимо влекло его к себе. Он так пристально всматривался, что разглядел несколько звезд, встал, ощупью прошел по комнате, нащупал вытянутыми руками оконные стекла и прислонился к ним лбом. Там вдали, под деревьями, тело девочки мерцало, как фосфор, освещая окружающую тьму!

Ренарде вскрикнул, бросился к постели и пролежал до утра, спрятав голову под подушку.

С этого времени жизнь его стала невыносимой. Он проводил дни в паническом ожидании ночи, и каждую ночь видение повторялось. Как только Ренарде запирался в комнате, он пытался бороться, но тщетно. Непреодолимая сила поднимала его и толкала к окну, как будто для того, чтобы вызвать призрак, и он тотчас же являлся ему – сначала на месте преступления, с раскинутыми руками, раскинутыми ногами, так, как нашли тело. Потом мертвая вставала и приближалась мелкими шажками, как живая девочка, выйдя из воды. Она тихо подходила, все прямо, по газону, но клумбам увядших цветов и поднималась по воздуху к окну Ренарде. Она подходила к нему, как подходила в день преступления к тому месту, где стоял убийца. И он отступал перед видением, пятился к кровати и падал на нее, зная, что девочка вошла, теперь стоит за шторой и штора сейчас колыхнется. И он до утра глядел на занавеску, не сводя с нее глаз, беспрестанно ожидая, что вот-вот из-за нее выйдет его жертва. Но она больше не показывалась, она пряталась за шторой, и ткань иногда колыхалась. Вцепившись сведенными пальцами в одеяло, Ренарде судорожно сжимал его, как сжал тогда горло маленькой Рок. Он прислушивался к бою часов, слушал в тишине стук маятника и глухие удары собственного сердца. Несчастный страдал так, как никогда еще не страдал никто.

Лишь когда на потолке появлялась белая полоска, предвещавшая приближение дня, Ренарде чувствовал, что избавился от наваждения, что он наконец один, совершенно один в комнате; тогда он ложился снова и спал несколько часов тревожным,

лихорадочным сном, часто возвращаясь и во сне к тому же ужасному видению, что и наяву.

В полдень, спускаясь к завтраку, он чувствовал себя совершенно разбитым, как после страшного утомления, и почти не прикасался к еде, неотступно терзаясь страхом перед той, которую ему предстояло увидеть следующей ночью.

А между тем он сознавал, что это вовсе не видение, что мертвые не возвращаются; это его больная душа, его душа, одержимая одной мыслью, одним незабываемым воспоминанием, единственная причина его страданий, это она напоминает ему об умершей, воскрешает ее, призывает и являет его глазам, запечатлевшим неизгладимый образ. Но он знал и то, что он неизлечим, что ему никогда не избавиться от яростного преследования собственной памяти, и решил лучше умереть, чем терпеть эту пытку.

Тогда он начал думать, как покончить с собой. Ему хотелось, чтобы смерть была простой, естественной и не дала бы повода думать о самоубийстве. Он дорожил своей репутацией, именем, завещанным ему предками; кроме того, если бы его смерть вызвала подозрения, то, наверное, вспомнили бы о нераскрытом злодеянии, о неразысканном убийце, и тогда его не замедлили бы обвинить в преступлении.

Странная мысль засела у него в голове, мысль о том, чтобы его раздавило дерево, у подножия которого он убил маленькую Рок. И он решил срубить свою рощу и симулировать несчастный случай. Но бук отказался переломить ему спину.

Вернувшись домой в полном отчаянии, он схватил револьвер, но так и не смог выстрелить.

Пробил час обеда; он поел, потом вернулся к себе. Он не знал, что делать. Он впервые отступил перед смертью и теперь чувствовал себя трусом. Только что он был готов, собрался с духом, был полон мужества и твердости, а теперь ослабел и начал бояться смерти не меньше, чем покойницы.

Он шептал: «Я не смогу, я больше не смогу» – и с ужасом глядел то на оружие, лежавшее на столе, то на штору, скрывшую окно. И, кроме того, ему казалось, что, как только оборвется его жизнь, произойдет нечто ужасное! Что же? Что именно? Может быть, их встреча? Ведь она подстерегала, она ждала, она

призывала его; затем-то она и являлась каждый вечер, чтобы, в свою очередь, овладеть им, осуществить свою месть, заставить его умереть.

Он принялся рыдать, как ребенок повторяя: «Я не смогу, я больше не смогу». Потом упал на колени, шепча: «Господи, господи!» – хотя и не верил в бога. И он действительно не решался больше взглянуть ни на окно, где, как он знал, притаилось привидение, ни на стол, где сверкал револьвер.

Но вот он поднялся и громко сказал:

– Так больше продолжаться не может. Надо кончать.

От звука собственного голоса в тишине комнаты у него пробежала дрожь по телу; но, не будучи в силах что-нибудь предпринять, чувствуя, что палец снова откажется спустить курок, он лег в постель, спрятал голову под одеяло и стал думать.

Надо было изобрести что-нибудь, что заставило бы его умереть, найти какую-нибудь уловку против самого себя, которая не допускала бы никаких колебаний, никаких промедлений, никаких сожалений. Он завидовал осужденным, которых под конвоем ведут на эшафот. О, если бы он только мог попросить кого-нибудь пристрелить его; если бы он мог излить свою душу, открыть свое преступление верному другу, который бы не выдал его, и от него принять смерть! Но кого просить о такой страшной услуге? Кого? Он перебрал всех своих знакомых. Доктор? Нет, Он, наверно, проболтался бы. Вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Надо написать следователю, с которым он близко знаком, и донести ему на самого себя. Он обо всем расскажет в своем письме – о преступлении, о перенесенных мучениях, о решимости умереть, о своих колебаниях, о средстве, к которому прибегает, чтобы поддержать свое слабеющее мужество. Он будет умолять следователя во имя их старой дружбы уничтожить это письмо, как только он узнает, что виновный сам покарал себя. Ренарде мог рассчитывать на этого чиновника, зная его как человека верного, скромного, неспособного даже на необдуманное слово. Следователь принадлежал к числу людей с непоколебимой совестью, которой управляет, владеет и руководит только разум. Когда Ренарде пришел к такому решению, необычайная радость наполнила его сердце. Теперь он спокоен. Он не спеша напишет

письмо, на рассвете отпустит его в ящик, прибитый к стене мызы, потом поднимется на башню, чтобы увидеть оттуда, как придет почтальон, а когда человек в синей блузе уйдет, бросить вниз головой и разобьется о скалы, на которых стоит фундамент. Предварительно он позаботится, чтобы его заметили рабочие, вырубавшие рощу. Потом он взберется на выступ мачты для флага, который поднимают в праздничные дни, сломает мачту одним ударом и упадет вместе с ней. Кто усомнится в том, что это несчастный случай? А он разобьется насмерть. Это несомненно, если принять во внимание его вес и высоту башни.

Он тотчас же встал с кровати, сел за стол и начал писать; он не упустил ничего, ни одной подробности своей жизни, полной отчаяния, ни одной подробности терзаний своего сердца, и закончил письмо заявлением, что сам вынес себе приговор, что сам себя покарает, как преступника, и умоляет своего друга, своего старого друга о том, чтобы память его осталась неопороченной.

Кончив письмо, он заметил, что рассвело. Он вложил письмо в конверт, запечатал, надписал адрес, легкими шагами сбежал с лестницы, дошел до маленького белого ящика, прикрепленного к стене на углу мызы, и, опустив письмо, которое жгло ему руку, быстро вернулся в дом, запер входную дверь на засов и поднялся на башню, чтобы дожидаться прихода почтальона, который унесет с собою его смертный приговор.

Теперь он чувствовал себя спокойным, освобожденным, спасенным! Холодный и сухой ветер, ледяной ветер дул ему в лицо. Он жадно вдыхал его, открыв рот, впивая его морозную ласку. По небу разливался яркий багрянец, багрянец зимы, и вся равнина, белая от инея, сверкала под первыми лучами солнца, словно ее посыпали толченым стеклом. Ренарде стоял с обнаженной головой и смотрел на широкие просторы, на луга слева и на село справа, где уже начинали дымиться трубы для утренней трапезы.

Он видел и Брендиль, она текла внизу, между скалами, о которые он сейчас разобьется. Он чувствовал, что возрождается в этой прекрасной ледяной заре, чувствовал, что полон сил, полон жизни. Свет обдавал, окружал его, проникал в него, как надежда. Тысячи воспоминаний поднимались в нем, воспоминаний о

таких же утрах, о быстрой ходьбе по твердой земле, звенящей под ногами, об удачной охоте по берегам озер, где спят дикие утки. Все радости, которые он любил, все радости существования теснились в его памяти, разжигали в нем новые желания, будили могучие вожеления его деятельного, сильного тела.

Он собирается умереть? Зачем? Он собирается сейчас покончить с собой только потому, что испугался тени? Испугался того, чего нет? Он богат, он еще молод! Какое безумие! Достаточно развлечься, уехать, отправиться в путешествие, чтобы все забылось! Ведь сегодня ночью он не видел девочку, потому что его ум был озабочен и отвлечен иными мыслями. Так, может быть, он вообще ее не увидит больше? И если даже она еще будет являться ему в этом доме, то не последует же она за ним в другое место! Земля велика, перед ним еще долгое будущее! К чему умирать?

Взгляд его блуждал по лугам, и он заметил синее пятно на тропинке вдоль берега Брендили. Это шел Медерик – доставить письма из города и взять письма из села.

Ренарде вздрогнул; острая боль пронзила его, и он бросился вниз по винтовой лестнице, чтобы взять обратно свое письмо, потребовать его от почтальона. Теперь ему было все равно, увидят ли его; он бежал по траве, покрытой ночным инеем, и прибежал к ящику на углу мызы одновременно с почтальоном.

Тот уже открыл маленькую деревянную дверцу и вынимал из ящика несколько писем, опущенных туда местными жителями.

– Добрый день, Медерик, – сказал Ренарде.

– Добрый день, господин мэр.

– Вот что. Медерик, я опустил в ящик письмо, но оно мне нужно. Пожалуйста, дайте мне его.

– Хорошо, господин мэр, отдадим.

И почтальон поднял глаза. Лицо Ренарде поразило его: сизые щеки, мутные, глубоко запавшие глаза, обведенные черными кругами, растрепанные волосы, всклокоченная борода, развязанный галстук. Видно было, что он не ложился.

Почтальон спросил:

– Уж не больны ли вы, господин мэр?

Ренарде, сообразив вдруг, что имеет, наверно, очень странный

вид, растерялся и забормотал:

– Нет... нет... Я просто вскочил с постели, чтобы взять у вас это письмо... Я спал... понимаете?

Смутное подозрение шевельнулось в уме отставного солдата.

– Какое письмо? – спросил он.

– Да вот, которое вы мне сейчас отдадите.

Но теперь Медерик колебался, поведение мэра казалось ему неестественным. Может быть, в письме скрыта какая-нибудь тайна, какая-нибудь политическая тайна? Он знал, что Ренарде не республиканец, и был знаком со всеми уловками, со всеми ухищрениями, к которым прибегают перед выборами.

Он спросил:

– Кому адресовано это письмо?

– Господину Пютуану, следователю; вы знаете, моему другу, господину Пютуану.

Почтальон порылся в своих бумагах и нашел письмо, которое у него требовали. Он принялся разглядывать его, вертел в руках, крайне озадаченный и смущенный, боясь, как бы не сделать большой ошибки, но как бы и не нажать врага в лице мэра.

Видя его нерешительность, Ренарде сделал движение, чтобы схватить письмо и вырвать его. Этот резкий жест убедил Медерика в том, что дело идет о важной тайне, и он решил выполнить свой долг во что бы то ни стало.

Поэтому он бросил конверт в сумку, закрыл ее и сказал:

– Нет, не могу, господин мэр. Раз письмо к судебным властям, – значит, не могу.

Невыразимая тревога сжала сердце Ренарде.

– Но ведь вы же меня знаете. Ведь вы, наконец, знаете мой почерк. Говорю вам, что мне нужно это письмо.

– Не могу.

– Послушайте, Медерик, вы знаете, что я не стану вас обманывать. Я вам говорю, что письмо мне нужно.

– Нет. Не могу.

В необузданной душе Ренарде вспыхнул гнев.

– Берегитесь, черт возьми! Вы знаете, я шутить не люблю, и вы у меня, любезный, живо слетите с места. Наконец, я мэр, я приказываю вам вернуть мне письмо.

Почтальон решительно ответил:

– Нет, не могу, господин мэр!

Тогда Ренарде вне себя схватил его за руку, чтобы отнять сумку, но почтальон высвободился одним рывком и отступил, подняв дубину. Не теряя самообладания, он произнес:

– Не троньте, господин мэр, не то я дам сдачи. Осторожнее. Я выполняю свой долг!

Чувствуя себя погибшим, Ренарде внезапно смирился, притих и стал молить, как плачущий ребенок:

– Ну, ну, друг мой, верните же мне это письмо. Я вас отблагодарю, я вам дам денег. Знаете что, я вам дам сто франков, слышите – сто франков!

Почтальон повернулся к нему спиной и пустился в путь.

Ренарде шел за ним, задыхаясь и бормоча:

– Медерик, Медерик, послушайте, я вам дам тысячу франков. Слышите – тысячу франков!

Тот шагал, не отвечая. Ренарде продолжал:

– Я обеспечу вас... слышите, дам сколько хотите... Пятьдесят тысяч франков... Пятьдесят тысяч за это письмо... Ну что вам стоит?... Не хотите?... Ну, хорошо – сто тысяч... слышите, сто тысяч франков... понимаете? Сто тысяч... Сто тысяч!..

Почтальон обернулся; лицо его было строго, взгляд суров.

– Довольно, а то я повторю на суде все, что вы мне тут наговорили.

Ренарде остановился как вкопанный. Все было кончено. Надежды не оставалось. Он повернул обратно и пустился бежать к дому, как затравленный зверь.

Медерик тоже остановился, с изумлением глядя на это бегство. Он увидел, что мэр вернулся домой, но решил подождать, словно был уверен, что сейчас должно произойти что-то необычайное.

И действительно, вскоре высокая фигура Ренарде показалась на верхушке башни Ренар. Он метался по площадке, как безумный, потом обхватил мачту флага, начал бешено трясти ее, тщетно пытаясь сломать, и вдруг, как пловец, бросающийся вниз головой, ринулся в пустоту, вытянув вперед руки.

Медерик побежал на помощь. Пробегая по парку, он увидел дровосеков, которые шли на работу. Он окликнул их, сказал, что

случилось несчастье, и они нашли у подножия башни окровавленное тело, с головой, разможенной о скалу. Брендиль омывала эту скалу, и по ясной, тихой воде, широко разливавшейся в этом месте, текла длинная розовая струйка мозга, смешанного с кровью.

* * *

Новелла печаталась фельетонами в «Жиль Блас» с 18 по 23 декабря 1885 года.

До революции – имеется в виду французская революция XVIII века.

И доктор и мэр были бонапартистами – то есть сторонниками свергнутой Второй империи, оппозиционно настроенными к Третьей республике.

Играли... в пробку – игра, состоящая в том, чтобы при помощи камня или бильярдного шара повалить пробку, на которую положена монета.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 6. МП «Аурика», 1994.

Перевод Е. Александровой Некаýalar